

Вадим Ярмолинец

Кроме пейзажа: Американские рассказы

Серия «Самое время!»

Два десятка лет репортерской работы в нью-йоркской прессе дали Вадиму Ярмолинцу бесценный писательский опыт и массу сюжетов. Своих персонажей он позаимствовал со страниц светской и криминальной хроники. Они — не ностальгирующие иммигранты, а полноправные жители «столицы мира», на улицах которой привычно звучит русская речь. Герои этих увлекательных историй живут одной жизнью со своими соседями — латинос, афро-американцами, ортодоксальными евреями, индусами и китайцами, как и они, стремясь найти свою любовь и место под солнцем.

Кроме пейзажа

А занесло меня в малопrestiжный район Нью-Йорка — Бруклин, который оказался впятеро больше моего родного города, считавшегося третьей столицей России. Ее южными воротами. Одесские лиманы, цветущие каштаны, качается шаланда на рейде голубом! Как много самомнения было у нас там! Каким мелким и невзрачным оказалось оставленное при взгляде отсюда! Каштаны, лиманы, шаланды. Край земли у не самого приглядного моря. Самого синего, особенно если никогда не видел Карибского. Бог мой, как назвать цвет воды, наполненной, как драгоценный камень, живым солнечным светом? С какой другой сравнить ее изумрудно-бирюзовую, пронизанную огненными змейками толщу?

Поначалу я пытался найти в окружающем пейзаже черты хоть чего-то знакомого, за что можно было бы зацепиться, как плющ цепляется за выступы стены, чтобы найти опору, прижаться, прижиться. Я всматривался в поток дождевой воды, хлещущий из проржавевшей водосточной трубы на брусчатку мостовой. Я пытался полюбить красный кирпич, проглядывающий из-под отбитой штукатурки; пятнистую стену лаймстоуна за покачнувшейся в знойном потоке воздуха платановой листвой; чугунную ограду дома сенатора напротив Проспект-парка. Голубей.

— Гули-гули-гули, — звала моя бабушка, кроша размоченный хлеб с балкона на черный асфальт двора. Слетались, хлопая крыльями, ворковали. Самые смелые садились на край балкона, круглыми глазами глядели через плечо на кормилицу.

Некоторые из нас пытались зеркально отражать новую страну. На углу Пятой и 42-й Елизавета Петровна Досааф чистила банан. Банан вставал из отброшенной кожуры. Елизавета Петровна поглотила половину плода, тут же кругло обозначившегося под ее щекой, откусила. На уцелевшей половине остался кровавый след.

Один раз она пришла за мной в литстудию, которую вел поэт местного значения Георгий Лыхаймик. Встав у двери, близоруко сощурилась, пытаясь высмотреть меня в табачном дыму. Лыхаймик, так же близоруко щурясь в ответ, заметил негромко: «Накрашена, как смертный грех». Она окончила примерное отделение местного худучилища и относилась к косметике, как художник-экспрессионист к краске.

— Димон! Ну наконец-то! — сказала она, продолжая борьбу с бананом. — Где ты был все это время? Я скучала!

Все до буквы, до капризного прогиба интонации «скуучала!» было знакомо, как прикосновение ее губ.

— Идем куда-нибудь попьем кофе.

Недоеденный банан был брошен на тротуар.

— Так можно? — я, еще боялся укоризненного взгляда, окрика, штрафа.

— Проснись, Димон, ты же в Америке! Всё уберут!

За минувшие с той встречи тринадцать лет я ни разу не видел, чтобы роскошные блондинки в лисьих шубах бросали на тротуар остатки завтрака. Я не видел, чтобы блондинки в шубах ели бананы.

Елизавета Петровна отражала что-то не то.

— Ну, как ты устроился? — она подхватила меня под руку.

— В газете, а ты как?

— Как я могла устроиться, голубчик? Педикюры, маникюры, пятое-десятое. Ты знаешь, я смотрю и вижу, что кроме пейзажа ничего не изменилось. Ты снова пишешь свои статьи, я снова стригу ногти, это какой-то кошмар!

Я подумал, какое занятие могло обозначать ее пятое-десятое. Досаафом ее назвал мой друг Сережа Ч.

— В Елизавету Петровну вступили все, как в ДОСААФ, — сказал он, а я подумал, что он завидует моей победе.

Ей было тогда около тридцати. У нее были глаза, как вода на мелководье в ветреный день. На молочно-белой коже груди, как на мраморе, проглядывали голубые вены. И сейчас, когда она прижимала на ходу мою руку, я снова чувствовал этот мрамор. На него по-прежнему должен был быть спрос.

— Душа моя, — сказал я. — Я не хочу кофе. Поехали лучше к тебе.

— Голубчик, я бы рада, но у меня дома живет Эдиган. Если ты хочешь, мы можем зайти в Публичную библиотеку на 42-й. Я знаю там одну совершенно очаровательную комнатку с видом на Брайант-парк. Ты бывал там? Я поведу тебя. Будем сидеть за столиком, пить кофе и смотреть на голубей.

Голуби. Отражая чужое, она все равно видела свое.

Эдиган бросил якорь в Лос-Анджелесе. В Одессе у него был шикарный подвал на Куликовом поле, где он курил план, а потом красил в разные цвета болты и гайки железнодорожных размеров, приводя в восторг заезжих иностранцев. В Америке болты и гайки не пошли, поэтому он двинулся другим путем.

— Каким же? — спросил я мою подругу.

— Ты не представляешь, что придумал этот проходимец!
— ответила Елизавета Петровна, поставив носок стилеты на

пришепетывающий радиатор у окна с видом на Брайант-парк и подтягивая черный чулок.

И она рассказала мне историю о том, как Эдиган решил торговать воздухом. Точнее запахом. Знаете, как пакуют запахи? Расклеиваешь сложенный вдвое край журнальной страницы с рекламой духов, а там — запах. В течение месяца Эдиган снимал пробы с интимных мест своей подруги Манон. Она была огромной женщиной с большим потенциалом и гривой диких волос, которых мне хватило бы на две жизни. Эдиган пользовался различными типами бумаги, брал образцы пахучих субстанций в различное время суток, превратился в химика. Потом он сделал портфолио из хастлеровских страниц, упаковав собранный материал в загнутые уголки. С неописуемыми трудностями добился аудиенции у Ларри Клинта.

Недобитый порнограф взирал на визитера. Глаза его, похожие на пуговицы, ничего не выражали. Эдиган, спотыкаясь о собственный английский, объяснял, что его изобретение сделает журнал еще более привлекательным для читателя. Оживит его.

Клинт разлепил краешек странички, уронил голову, засопел, выровнялся. Не говоря ни слова, нажал кнопку под крышкой стола.

— Вам нравится? — с надеждой спросил Эдиган.

Ответом было бесшумное появление в кабинете двух бронеподростков, которые взяли Эдигана с двух сторон под руки. Он взлетел, спинка стула мелькнула под согнутыми в коленях ногами, пронеслись мимо стены кабинета, букеты цветов в приемной, красного дерева дверь с золотой табличкой бесшумно затворилась за спиной.

— Ептьть! — сказал Эдиган сам себе.

Планы рухнули, долги остались. Он попросил убежища у Елизаветы Петровны.

— Фу, вонючий, — капризно сказала она, забираясь в постель. На ней была красивая красная грация с черными кружевами из каталога «Фредерик оф Голливуд» — любимого издания водителей-дальнобойщиков.

— Завтра сделаешь мне ванну, — ответил он, впиваясь в нее, как намотавшийся по свету клещ впивается в выставочного пуделя.

На следующий день, всплыв из-под ароматных пузырей, он спросил:

— Ты не знаешь здесь никакого мецената?

— Голубчик, все ищут мецената! Ты не поверишь, но я тоже хочу жить в Калифорнии, а не в Бенсонхерсте! Но что, у меня есть время на поиски? Я не успеваю подойти к зеркалу, чтобы накрасить губы, как появляется очередной друг детства. Ему негде жить, ему не с кем жить, у него творческий кризис!

— Надо быстрее красить губы, — заметил Эдиган.

Все они бросали заваленную их шедеврами, утомленную собственными восторгами Одессу, чтобы найти денежного туза с замком в горах или виллой на берегу океана и доить его, доить, доить, как бесконечную голландскую корову.

В числе первых охотников за меценатскими головами был Додик Фуфло — наглый как танк и пронырливый как глист крепыш в берете, с усами а-ля Сальвадор Дали. При наших уличных встречах он неизменно повторял один и тот же текст:

— Дима, я нашел одного миллионера. У него свой особняк на Ист-Сайде (Вест-Сайде, Гринич-Виллидже, Лонг-Айленде). Он увидел мои картины и чисто выпал в осадок. Он говорит: «Слушай, Додик, я живу в Америке пятьдесят лет, но только сейчас ты мне открыл глаза на настоящее искусство». Я запалю ему штук десять работ на еврейскую тему, он это любит, и переезжаю на Сардинию. У него там дача. Нахера мне та Америка! Страна непуганых дебилов! Посмотри на них, разве они понимают, что такое настоящее искусство?!

Не найдя своего миллионера, он стал присматриваться к тому, как работают другие. Точнее, как продаются их работы. Хорошо продавались работы Штейна и Зуба.

Гиперреалист Штейн рисовал грифелем предметы. Огромные пишмашинки, утюги, ботинки. При фотографической точности изображения он находил такие ракурсы, подчеркивал такие детали, что предметы казались живыми.

Зуб рисовал рубенсовской комплекции балерин, танцующих на спинах слонов и носорогов. Зуб работал не кистями, а мастихином, благодаря чему его полотна выглядели как богатые персидские ковры из бродвейского магазина «АВС». Зуб корпел над своими полотнами месяцами, бесконечно дорабатывая их, вкладывая себя в каждую балерину, в каждого носорога. Он делал по десять-двенадцать работ в год. Их покупали до открытия выставок по каталогам.

Додик заперся в мастерской на Мерсер-стрит и через неделю открыл выставку для друзей и знакомых. Они увидели огромные мясорубки, ботинки и утюги, покрытые геометрической сеткой глубокой фактуры.

— Чем ты работал? — поинтересовался я.

— Навалил все кистью, а потом причесал крупной расческой, — охотно объяснил он. — А что, плохо получилось? По-моему, нормально!

Спустя несколько месяцев он возник, злобно жующий собственные усы, на выставке Зуба. Деловито осмотревшись, хмыкнул:

— Это живопись? Это — картинки из чехословацких книжек!

Кто-то из гостей, знавших цены на работы Зуба, добродушно рассмеялся.

Додик разозлился еще больше. Прихлебывая дармовое презентационное вино, он оглядел собравшихся. В каждом из них он видел потерянного для себя покупателя. Как бы ни к кому не обращаясь, он сказал:

— Я смотрю на этих людей, и у меня такое впечатление, что я на кладбище.

Вокруг него тут же образовалось пустое пространство. Кладбище возможностей своего рода.

Потом он предпринял попытку войти в американскую живопись через академические круги. Пригласил на день рождения нескольких своих стареющих почитателей одесской поры и профессора Сити-колледжа, на которого он поставил все. Плешивый старец когда-то написал труд о Бурлюке.

— А что, мы же с Дэвиком учились в одном заведении! — заявил хозяин дома.

К встрече написал работу в бурлюковском стиле. Баба с морячком пьют чай из самовара на фоне одесского маяка. Очень много неряшливо наложенной краски, которую к приходу профессора пришлось сушить феном.

Стол ломился от одесских яств. Икра из баклажанов, салат из помидоров и огурцов, салат из крабов, салат оливье, холодец — короче, все из соседнего русского магазина плюс две бутылки водки «Джорджи». Жена играла на скрипке. Чтобы произвести правильное впечатление на гостя, Додик надел турецкую феску и красный атласный халат. Подкрутил усы.

Вечер испортил народный художник Юра Брежнев, у которого в Америке все складывалось так хорошо и быстро,

что он даже не успел сменить на что-то местное униформу модного парикмахера, в которой прибыл в новую страну: кожаное пальто, белый шарфик, пыжиковая шапка. И зуб золотой.

— У меня только что выставка открылась в Вашингтоне. — Сияя счастьем, он достал из подмышки кассету. — Додик, у тебя есть видик?

— Где ты видел в Америке человека без видека? — с вызовом ответил хозяин. Он открыл стеклянную дверцу тумбочки под телевизором: — Последние поступления гарбиджа. Инджойте!

Поставили запись. Брежнев стал объяснять. Профессор заинтересованно кивал, не переставая есть вилок баклажанную икру. Икра падала на зеленый шелковый галстук и расстегнувшуюся на животе розовую рубаху.

Додик со своими усами, феской и красным халатом стал удаляться, удаляться, удаляться, пока не оказался на другом конце океана, в далекой Турции. С этим надо было что-то делать.

Он вышел на кухню, вскрыл ножом флакон жидкости «Блэк флэг», набрал в рот содержимое и вернулся в комнату. Он был так возбужден, что чудовищная отравка у него во рту потеряла всякий вкус. В гостиной продолжался просмотр брежневской выставки. С обезьяньей ловкостью Додик вскочил на стол (кто-то ахнул, обнаружив под халатом именинника полное отсутствие белья), щелкнул перед лицом зажигалкой и выпрыснул из себя жидкость, как выпрыскивают воду при глажке белья. Ударившее из головы Додика пламя собралось пылающим клубом под потолком, источая черный дым и удушающее зловоние.

— Спокойно! — крикнул Додик, перекрывая оханье и аханье слабонервных. — Всё в порядке! Щас оно прогорит!

Спрыгнув со стола, он метнулся в ванную и через минуту вернулся со шваброй, которой стал разгонять облако. Оно шипело, стреляло искрами, делилось на части, но потом снова собиралось, продолжая гореть и издавать зловоние. Вода с копотью летела во все стороны. Не выдержав напряжения, гости ринулись к выходу. С продолжительным стоном хрустнула под профессорской ногой скрипка.

— Файр! Файр! — не выдержала профессорская жена. — Колл найн илевн!

Последний раз я видел Додика на уличной выставке в Вашингтон-сквере. Была осень. Тащилась куда-то в Даунтаун палая листва. Пожилой человек с обвисшими усами

устроился на складном стульчике возле выставленных у чугунной ограды холстов. Глубоко сунув руки в карманы пальто, поеживался на пронизывающем ветерке.

Одна работа сразу привлекла меня — женщина в пестрой ситцевой юбке сидела на кухонном табурете с попугаем на плече. За ее спиной было открытое окно с рыжими крышами и синей полоской моря.

— Ну, ты узнал ее? — спросил Додик.

Я кивнул.

На только что безучастном его лице появилась знакомая усмешка, в потухших глазах вспыхнули искорки веселья.

— Когда я увидел эту грудь, я ей сказал: «Елизавета Петровна, последний раз я видел такое на Привозе. И это были дыни. Как хотите, но я должен написать этот натюрморт!» Клянусь тебе, Димон, я давно не получал такого кайфа от работы. Это было как в молодости, когда тебе казалось что ты держишь бога за яйца. Ты делал мазок-другой, и за ними была жизнь, ты понимаешь? Не концептуальное дерьмо, а жизнь с мясом, с хлебом, с вином, ты понимаешь? Клянусь тебе, я писал ее вот так вот, без трусов, без ничего, а она сидела на этом табурете и хохотала, как ребенок.

Я знал этот смех. Этот глубокий, волнующий, зовущий смех.

— Елизавета Петровна, когда вы смеетесь, у меня поднимается давление, — говорил когда-то Юра Брежнев, и кончик его носа начинал краснеть. — Не смейтесь, пожалуйста, а то мы вас изнасилуем.

— Нет! Это невозможно! — смеялась Елизавета Петровна.

На щеках ее вспыхивал румянец, она откидывала с глаз соломенную челку.

— Это очень даже возможно, — подтверждал свое намерение Брежнев, и нос его становился пунцовым. — Одно «но»: вам это может понравиться, а у меня много других дел.

— Я вас заверяю, что если мне это понравится, так вам придется бросить все свои дела!

Брежнев сделал состояние на пестрых картинах с жар-птицами и райскими фруктами в стиле русского лубка. Продаже способствовала не столько оригинальность продукта, сколько фамилия советского генсека, которую он носил. Массовость производства обеспечивал старый одесский знакомый народного художника Лев Соломонович Г., иммигрировавший в Израиль, а оттуда перебравшийся в США. Историческая родина ему почему-то не понравилась,

но Америка не давала гражданства израильтянам. Дважды беженец, он остался в стране нелегально, наняв адвоката и добиваясь вида на жительство на правах выдающейся личности. Лев Соломонович был одним из самых известных в мире экслибрисистов. Из последних сил он кормил взявшего его дело адвоката, днями и ночами разрисовывая брежневских жар-птиц. Тот приходил к нему раз в неделю, шилом набрасывал на загрунтованный серой военной краской холст типовой набор райской флоры и фауны, а экслибрисист доводил дело до конца: красное перо, зеленое перо, синее перо, золотая окантовка. Зеленое, красное, синее, золотое, красное, синее, зеленое, золотое. Спасибо на этом.

Это был нетипичный случай эксплуатации русским еврея. В то время как Брежнев зарабатывал, по слухам, порядка двухсот тысяч долларов в год, Лев Соломонович еле-еле сводил концы с концами. Потом у бедолаги обнаружили опухоль, но, к счастью, он успел получить грин-карту и пособие по нетрудоспособности, полагавшееся по возрасту. Благодаря этому ему сделали операцию и оказали всю необходимую помощь. Спросите меня, оплатил бы Брежнев лечение своего раба, если бы тот остался нелегалом, — и я не отвечу на ваш вопрос.

Такое лечение могло стоить порядка ста тысяч долларов. Так что, он должен был отдать половину своего заработка человеку, который по чистой случайности оказался на его творческом пути? Ну, не по чистой случайности, конечно. Там, в Одессе, Брежнев смотрел на тогда еще не очень старого Льва Соломоновича как на мэтра, которому делали заказы самые именитые книжники страны: писатели, актеры, академики. От их имен Брежнев возбуждался так же, как от смеха Елизаветы Петровны.

Заглядывая при встречах в глаза экслибрисисту, Брежнев с нескрываемой завистью спрашивал: «Кого сейчас обслуживаем, Лев Соломоныч?»

Дома у Брежнева были полки и полки альбомов с фотокарточками, где он был запечатлен с сильными мира сего. В Америке он даже сфотографировался с президентом. Тот с одинаковым азартом бегал за дамским полом и произведениями народных промыслов, собрав большую коллекцию того и другого.

Щедро раздариваемые жар-птицы позволили Брежневу попасть на страницы «Нью-Йорк таймс», но к тому времени это не произвело впечатления даже на Додика. Тот понял, что

это еще одна газета местного значения. Просто место было такое — Нью-Йорк.

— Надо же! — только и сказал он, наткнувшись на снимок Брежнева. Тот сидел в гостиной своей роскошной манхэттенской квартиры перед работой Льва Соломоновича с петухами и фруктами.

Додик к тому времени уже устал от беготни за деньгами, славой, виллами на сказочных островах. Иллюзии вытеснил быт с его простейшими задачами — оплатой счетов за квартиру и услуги. Жизнь научила получать удовольствие от доступного. Это и называлось американ экспириенс. Мастерской у него больше не было. Какой смысл? Когда жена уходила давать уроки музыки, он ставил мольберт у кухонного окна и рисовал сохнувшее на веревках между домами белье, рыжие крыши, синюю полоску Гудзона над ними, голубей в небе. Чем меньше ему надо было от Америки, чем меньше претензий он предъявлял ей, тем ближе она становилась ему. Рисуя ее, он, сам того не осознавая, рисовал свой старый город, и это привязывало его к месту, где он теперь жил.

Иногда, помаявшись в пустой квартире, он набирал зазубренный номер телефона, и, когда на том конце провода снимали трубку, спрашивал с надеждой:

— Елизавета Петровна, вас можно сегодня побеспокоить?

— Нет, я сегодня занята, — отвечала Елизавета Петровна, ероша нежной рукой редешущий ежик моих волос. — Если вы хотите сделать педикюр, позвоните ко мне на работу и попросите Таню.

— Мне не нужен педикюр, — вздыхал Додик.

— Попросите ее, что вам надо, она вам все сделает, — строго говорила Елизавета Петровна и клала трубку.

— Возмутительно! У меня нет никакой прайваси! Никто без меня не может.

Легко ведя кончиками пальцев по моей спине, добавляла:

— Но с другой стороны, Димуля, я же тоже не могу совершенно одна в чужой стране, верно? — Дыхание ее касалось моего плеча, потом я ощущал прикосновение губ. — Кто у меня есть, ну подумай? Я же здесь никого не знаю, кроме всех вас, непризнанных одесских гениев!

Погружаясь в блаженный утренний полусон, я успевал ухватить сознанием обрывок мысли о том, кто у нее есть еще. Откуда я мог знать? Ее как-то естественно, безо всякого душевного и телесного напряжения хватало на всех. Кто-то мог в этот момент подниматься по лестнице к ее двери. Кто-

то, купивший картину девушки в пестрой юбке в Вашингтон-сквере, мог сейчас стоять перед ней с разбитым сердцем. Кто-то мог остановить ее завтра на улице и предложить отдых на Карибских островах. Ей было тогда чуть-чуть за сорок, и она все еще была невероятно привлекательна. Эта копна соломенных волос, эти глаза, этот мрамор тела... Но для всех нас она была все эти годы тем самым уступом стены, цепляясь за который, мы лепились к чужой стране, строили новую жизнь, даже не думая о том, как мало в ней изменилось. Кроме пейзажа, конечно.

2003

На Макдоналдс-авеню

Как говорил классик, не станем размазывать белую кашу по чистой скатерти. Место действия — Бруклин. Время — самое неприятное в этих местах: лето. Волна раскаленной влаги гонит по асфальту звонкую банку «Бадвайзера», пока ее с хрустом не вминает в мостовую желтый строительный ботинок Мозеса Сото. Перед нами 22-летний уголовник с наглым взглядом, разноцветным драконом на мускулистом плече и чувственными губами, за которыми открывается ряд редких, низкорослых зубов. На счету Сото поножовщина, кражи то взломом, нелегальное хранение оружия, торговля наркотиками и пара-другая выбитых зубов агрессивной в подпитии мамыши.

Второй персонаж — 63-летний Арон Лакшин. Мы видим его сквозь пыльное окно закуской «Тоттоно», выходящей на Макдоналдс-авеню. Зажав сигарету в углу рта, Лакшин, щурясь от дыма, неторопливо кладет домино на исцарапанный пластик стола. Трое мужчин с темными невыразительными лицами, кажется, даже не смотрят на выложенные им костяшки. Над ними мохнатыми от пыли лопастями вентилятор разгоняет мух, но не жару.

Лакшин ссужает деньги. Пугающая величина процента вызвана отнюдь не алчностью ростовщика. В качестве залога под взятые деньги клиенты Лакшина, как правило, не могут предложить ничего, кроме своей никчемной жизни.

Не придавая этому никакого значения, оба героя живут через дорогу друг от друга. Их дома разделяет возведенная в начале века железная эстакада, на которой с обморочными вздохами останавливаются высадить своих угрюмых пассажиров поезда маршрута «F».

22 июня (ровно в четыре часа) на перекрестке Макдоналдс и 65-й стрит Лакшин бьет своим тяжелым «шевроле» жестяной бок неожиданно выскочившего перед ним «ниссана».

Чтобы не привлекать внимание полиции, Лакшин предлагает молодому наглецу оплатить ремонт его машины. Мозес, который ездит без прав и страховки, охотно принимает предложение. В тот же день он появляется с тощим и бледным как смерть двоюродным братом Хосе Альворадо в «Тот-тоно». Лакшин кладет на стол перед ним три сто долларовые купюры и одну пятидесятидолларовую.

Хруст новеньких ассигнаций, замершие взгляды доминошников, автоматизм движений отсчитывающего

деньги Лакшина определяют дальнейшее развитие событий. Волчий инстинкт Сото подсказывает ему, что его новый знакомый не хранит деньги на банковском счете. Выждав удобный момент, он забирается домой к ростовщику. Покрытый инеем сейф обнаруживается в холодильнике рядом с пачкой пельменей. Вскрыть на месте не удается, и Сото уносит его с собой, упаковав в черный пластиковый мешок для мусора.

На следующий день в «Тоттоно» появляется один из должников Лакшина и предлагает выдать имя грабителя в обмен на прощенный долг. На этот раз Лакшин вызывает копов. Те застают Сото у раскуроченного сейфа за пересчетом наличности. На смятой постели лежат оставленные в залог золотые обручалки и «Ролексы». На парня надевают наручники, и еще через час в центральном бруклинском распределителе судья беспристрастно зачитывает ему предварительное обвинение в краже со взломом и хранении краденого. С учетом старых грехов Сото, дело клонится к шести годам минимум, но благодаря стараниям шустрой мамы обвиняемого отпускают до суда под залог.

Вернув около пяти тысяч долларов, несколько колец и часы, Сото оставляет у себя куда большую ценность — записную книжку, в которой Лакшин отмечает, кто и сколько ему должен. Потрепанный блокнот обладает колоссальным потенциалом. Его новый владелец может наведываться к должникам от имени старого. Чтобы быть от него подальше, Сото стремительно пакует небогатый семейный скарб и уезжает к брату в Сансет-Парк. Он делает это с такой скоростью, что мамаша не успевает попрощаться с соседями, у которых хороших десять лет брала в долг до следующей полочки пособия и крапа всякую плохо лежавшую мелочевку, включая половики и оставленную на них обувь.

Но деловые связи так быстро не оборвать, и Сото время от времени появляется на Макдоналдс-авеню. В один из таких визитов он натывается на Лакшина. За поясом джинсов под выпущенной наверх майкой с надписью «Олд Нэви» у него пистолет. Он знает, что встреча с Сото может произойти в любой момент, но переживает настоящее потрясение, когда сталкивается с ненавидящим взглядом.

Первоначальный план Лакшина — приставить ко лбу подонка короткий металлический ствол и потребовать свое — тут же идет прахом. В долю секунды Лакшин понимает, что у того просто может не оказаться при себе заветного блокнота,

что он будет молить о пощаде и наверняка предложит поехать к себе домой, где у него тоже может оказаться оружие.

Упреждая это развитие событий, Лакшин направляет пистолет на Сото и давит на курок.

Счастье мимолетно, как звук выстрела. Бешеное желание стереть обидчика с лица земли покидает стрелка так же стремительно, как пуля покидает взмокший от ужаса пистолет.

Беспомощно опустив руки, старик смотрит на произведенные им разрушения. Жаркий ветерок колеблет редкие седые волосы на покрытой коричневыми пятнами голове.

Молодой парень, с телом рельефным, как у мраморного героя, сидит, раскинув ноги, у зеленой опоры эстакады. Его левый глаз все еще смотрит на Лакшина. На месте правого — заполняющаяся кровью дыра. Кровь стекает по щеке на майку, по ней на джинсы, по джинсам — на пыльную мостовую.

Меня интересует: что заставило 63-летнего Арона Лакшина по возвращении домой сесть на диван, отдышаться и, приставив пистолет к собственному виску, снова нажать на спуск? Боязнь того, что остаток дней он проведет в одной из клеток шумного зоопарка для двуногого зверья? Но может ли до такой степени испугать человека тюрьма, угроза переселения в которую висела над ним практически всю жизнь? В конечном итоге, какая ему была разница, где играть в домино или ссужать деньги? Насколько бы отличались его партнеры и клиенты в местах лишения свободы от тех, с которыми он сидел за столиком «Тоттоно»?

А может быть, всему виной разросшееся до вселенских размеров зерно ветхозаветного ужаса, которое посеяно в душе каждого из нас? Ужаса Каина, отобравшего жизнь у брата своего?

Нет, я не в силах понять, что заставило Лакшина пустить себе пулю в висок.

История, однако, на этом не заканчивается. Сото убит, но память о нем еще жива. Более того, смерть на время делает его еще более популярным в кругу знакомых и друзей, чем сама криминальная жизнь. Прощание с телом в похоронном доме «Каса Эстремадура» обещает стать сбором знаменитостей уголовного мира Сансет-Парка. Взломщики, уличные торговцы наркотиками, золотозубое хулиганье с пятидюймовыми крестами на груди и тощими задами, выглядывающими из приспущенных джинсов, собираются в

«Эстремадуре», где героем дня будет убитый горем Хосе Альварадо.

Для прощания с братом он покупает черный костюм с пиджаком длинным, как хасидский сюртук, новую золотую цепь со звеньями толщиной в палец и перстень с рубином, который вопиет о крови.

К дому скорби его подвозит белый «джип-стрэч», асфальт под которым сияет сиреневым светом. Следом за убитым горем братом выбирается подруга покойного — высокая черноволосая девушка лет двадцати трех с очень большой грудью. Впечатление такое, что она еще не научилась носить ее так, чтобы это не обращало на себя внимание. По одним сведениям она родилась в Матанзасе недалеко от Гаваны, по другим — в Белгород-Днестровске, расположенном в стране, название которой напоминает русское слово «окраина» и блестяще определяет ее географическое положение — где-то между Трансильванией и Тувинской республикой на широте Баку. Сама девушка была слаба в географии и, положи перед ней карту, затруднилась бы показать место своего появления на свет. Но в любом случае провинциальность происхождения определила ее судьбу. Слишком много сил и времени было потрачено, чтобы добраться до Нью-Йорка. На пути длиной в несколько лет были торговцы живым товаром, изнасилования, выданные за любовь, и любовь, похожая на изнасилование, нищие аферисты с даром сказочников, создатели порнографических фильмов, дурная болезнь и ребенок, родившийся мертвым в Сан-Диего.

Она появилась в жизни Мозеса Сото одновременно с деньгами и еще не успела привыкнуть ни к роли его подруги, ни к роли вдовы. Последний поворот событий принес новую роль, о которой можно только догадываться по тому, как девушка, уверенно взяв за руку Альварадо, поправляет короткое черное платье, как, касаясь бедром спутника, направляется в похоронный дом, где они садятся в первом ряду партера прямо перед сверкающим полировкой гробом.

У Мозеса Сото безучастное лицо, восстановленное работниками похоронного дома с помощью воска и румян за 350 долларов. Рядом с ним сидит с таким же неподвижным восковым лицом мать. Пастор уже прочел молитву и со вздохом перепоручил душу убитого потусторонним силам, без особой надежды на то, что они доставят ее туда, где она наконец обретет покой.

Среди рядов плюшевых кресел, напоминающих красные волны в золотой окантовке, переговариваются вполголоса

нарядно одетые молодые люди. Негромко и со знанием дела они ведут беседу о том, что жизнь человеку дается только один раз и прожить ее надо красиво, в обществе серьезных мужчин и преданных женщин, — и тогда прощанье не будет особенно горьким. Говоря это, они легко касаются спрятанных под одеждой пистолетов.

Пальцы рук Альварадо и его подруги сплетены. Все, что возникло в эти дни между ней и братом ее скоропостижного любовника, продолжает расти и крепнуть, как стена, отделяющая их от носа и сложенных на груди рук, выступающих над полированным бортиком.

Временно простившись с братом, Альварадо войдет с девушкой в номер с широкой постелью, над изголовьем которой висит картинка — Иисус с желтым нимбом над головой. Соединив ладони, Спаситель деликатно смотрит в потолок, чтобы не смущать пары, сменяющие друг друга у его ног.

В то время как девушка принимает душ, Альварадо, закатав рукав, беспощадно дырявит руку в поисках вены. Наконец мощная волна тепла подхватывает и поднимает его. С ее высоты он видит направляющуюся к нему обнаженную женщину с кроваво-красным ртом. Он протягивает к ней руки и внезапно обнаруживает, что это не женщина, а сама Смерть, оскалив гнилые зубы, заглядывает ему в лицо.

Серый утренний свет медленно заливает комнату, где лежат с широко открытыми глазами девушка и покойник, так и не успевший познать ее. Идти ей в этом городе не к кому. Все, что остается, — это терпеливо ждать, когда за окном вскрикнет сирена и голубые вспышки полицейских мигалок дадут знать, что о ней снова кто-нибудь позаботится.

2000

Кредитная история

Первую в своей жизни кредитную карточку Свердловы отправились обмывать в турецкий ресторан «Диван», что на Макдугал, недалеко от пересечения с Бликер. О заведении положительно отозвался ресторанный критик «Нового русского слова». Место для парковки нашли кварталов за пять, едва втиснулись. Потом по ошибке двинулись в другом направлении. Потом Наташа пожаловалась, что, хотя шуба теплая, легкие туфли на шпильках — не самая удачная обувь для мартовского вечера. В общем, походив взад-вперед минут пятнадцать, нашли они этот «Диван», и усатый янычар, приняв у Наташи шубу, провел их к столу. Место понравилось — голые кирпичные стены, свечи в мелких стаканчиках, батареи бутылок на полках.

Заказывал Вячеслав Михайлович, который любил хорошо поесть и при случае повторял не без иронии, что-де в жизни потеряно все, кроме аппетита. У себя в Одессе он знал шеф-поваров лично, все они когда-то были его студентами — он работал преподавателем физкультуры в поварском ПТУ. Когда он заказывал, допустим, обычные вареники в «Украине» на Ласточкина, то говорил официанту: «Скажи Вите, что Свердлов просил положить больше жареного лука». Фамилия у него была запоминающаяся, и Витя, вытирая руки полотенцем, сам сопровождал глечик с варениками к столу высокого гостя. Повара любили его, как любят человека, способного оценить хорошую работу.

В «Диване» они заказали на закуску комбинированное блюдо, на котором было, значит, запоминайте: долма, гумус, бабагануш, маринованные маслины, печеные баклажаны под ледяным цациком и треугольные такие пирожки из слоеного теста с сыром. Горячие лепешки лежали рядом в соломенной корзинке. В качестве основного блюда подали люля-кебаб, от одного аромата которого в рот ударяла такая мощная волна слюны, что человека неподготовленного могла и со стула сбить. Но Свердловы были людьми подготовленными. Они только сделали глубокий вдох-выдох и придвинули к себе тарелки.

Когда им подали турецкий кофе и облитую сладким медом баклаву, они решили перекурить.

— Расплачусь пока, — сказал Вячеслав Михайлович, предвкушая момент, ради которого и был затеян культпоход.

— Сережа! — позвал он официанта.

Он всех официантов звал Сережами, и все они на это имя откликались. Янычар Сережа подошел.

— Чек, — сказал Вячеслав Михайлович на чистом английском языке.

Сережа поклонился и через минуту подал серебряный подносик с чеком. Свердлов внимательно изучил его и приступил к церемонии запуска карточки в большую жизнь. Сперва он легонько, двумя ладонями прихлопнул себя по груди, как бы проверяя, в каком из внутренних карманов пиджака спрятался от него шалун-бумажник. Потом сунул руку в левый карман. Задержав ее там на секунду, достал. Раскрыл. Извлек карточку и, на секунду зафиксировав ее в воздухе, положил на подносик. Готово!

— Сорри, онли кэш, — негромко сказал Сережа, но эти тихие слова произвели на Вячеслава Михайловича, как любят говорить газетчики и начинающие писатели, эффект разорвавшейся бомбы. Его просто контузило этими словами. Контузило и присыпало трехметровым слоем земли. Сережа тем временем вежливо поклонился и ретировался.

Дело было плохо. Начать с того, что весь словарный запас Свердлова был предельно ограничен, при этом большей частью нецензурен. Как-то так выходило, что матюги запоминались первыми. Одна только перспектива объяснений с официантом страшила его, как ребенка страшит визит к дантисту. Между тем объяснение было неизбежно. В кошельке у него лежали аварийные долларов шестьдесят, но должен был он — восемьдесят пять плюс чаевые.

— Я в туалет на минутку, — Вячеслав Михайлович поднялся.

План у него созрел с той фантастической скоростью, которая обычно сопутствует самым безумным и категорически невыполнимым начинаниям. План был простой, как не знаю что. Если в туалете есть окно, он вылезает на улицу, идет в ближайший банк, берет в банкомате наличные, тем же манером возвращается и, ни на минуту не роняя человеческого достоинства, расплачивается с басурманами.

Окно в туалете имелось. Высоковато было, но он — одно слово физкультурник — ногу поставил на унитаз, вторую — на водопроводную трубу, подтянулся, извернулся... короче, вылез. Спрыгнул, правда, неудачно — чуть подвернув ногу. А распрямившись, обомлел. Даже, я бы сказал, не обомлел, а был контужен вторично. Он стоял ни на какой не на улице, а в черном и сыром, как могила, колодце, и только одно окошко

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru